

Б.Ф. ПОРШНЕВ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

А.В. Гордон

Мое десятилетнее знакомство с Борисом Федоровичем было не слишком обстоятельным; одних воспоминаний о личных контактах недостаточно, чтобы воссоздать тот образ ученого, который сложился у меня к его столетию. Думаю, истекшее время не отдалило, а скорее приблизило меня к Б.Ф.: я полнее стал представлять масштаб творчества, больше открылся мне и характер личности. Тот Поршневу, каким я его видел и знал, предстает теперь в моих глазах, по известному выражению, «надводной частью айсберга». И если сейчас я чувствую себя созревшим для более объемного понимания, то в этом немало заслуга других людей, у каждого из которых был «свой Поршневу».

Я не собирал воспоминания «со стороны», они приходили «сами». И спонтанность такого «сбора» заодно с множественностью образов и их яркостью свидетельствуют со всей очевидностью о глубокой запечатленности личности Поршневу в сознании тех, кому довелось его знать. Они неравноценны и очень неоднозначны – те отзывы, что дошли до меня и отложились в моем восприятии. Не перечисляя всех, упомяну важнейшие: воспоминания Екатерины Борисовны Поршневу, с которой мы тесно сотрудничали в конце 70-х – начале 80-х годов и продолжали дружить впоследствии, и исследовательские очерки Олега Тумаевича Вите, с которым познакомился в конце 90-х. Искренне благодарю всех, кто делился со мной своими воспоминаниями и размышлениями, но, понятно, не претендую на возможность какого-либо обобщения. Оценки друзей и коллег помогли сложиться моему нынешнему восприятию, истоки которого восходят все-таки к личному и уже далекому (даже по масштабам любимой Поршневу всеобщей истории) прошлому.

Во всей многослойности моих представлений стойко сохраняются две картины. Прощание, конференц-зал Института на ул. Дм. Ульянова,

Александр Владимирович Гордон, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института научной информации РАН.

где так часто раздавался высокий звонкий («зычный», по его собственным словам) голос ученого. Народу не слишком много. Мы подошли вместе с А.В. Адо, и распорядитель тут же предложил нам встать в траурный караул. «Пойдемте, Саша», – сказал Адо. Я начал мямлить, что мне, так сказать, по статусу не положено, имея в виду свою академическую маргинальность. «Ну а мне как раз по статусу и положено», – возразил Анатолий Васильевич, подразумевая отношения ученика и учителя. Само собой, я двинулся за ним. Меня так поразили переход кипучей энергии в застывшую массу, что я едва достоял до смены вахты. Наверное, как сейчас понимаю, в живом Поршневе меня никогда не впечатляла его физическая мощь. Она оставалась где-то на втором плане, слаборазличимая в фонтанирующей интеллектуальной энергетике.

Другая картина. Очередное мероприятие (не то заседание сектора, не то группы), тема малоинтересная, докладчик еще менее. Проявлялась у Поршнева достопримечательная особенность лидера – любил покровительствовать. При этом ему порой, в порядке вызова «общественному мнению» (тоже характерный для Б.Ф. мотив), приходилось поддерживать ученых (обычно провинциальных), о научных способностях которых в секторе складывалось отчетливо неблагоприятное впечатление. Г.С. Кучеренко назвал эту особенность «поликарпизмом» – так случилось, что однажды перед сектором предстал товарищ по имени Карп, за ним – Поликарп (или наоборот).

Аудитория откровенно скучает, конца краю этому издевательствам не видно. Вдруг все будто преображается. Б.Ф. переходит к комментариям; и выясняется, что докладчик поведал нам буквально о научном открытии, и вот уже сами мы готовы в это поверить. Разумеется, по настоящему преображается лишь сам Поршнев, исторгнувший, что называется, из ничего, из «пустоты» фонтан ярких и оригинальных мыслей. *Deus ex machina* – священнодействие творца! Вот такой, постоянно искрящей от высокого интеллектуального напряжения динамо-машиной остался в моем представлении живой Поршнев.

Подобные превращения организационно-научного мероприятия из зауядного действия в некое действо изобличали в Поршневе тот самый природный артистизм, который так замечательно живописует в своих воспоминаниях его дочь¹. И, должен сказать, Б.Ф. не только демонстрировал игру своего ума. Он с явным удовольствием откликнулся на такую же игру со стороны коллег, побуждал к этому и готов был оценить даже ученическое вступление.

¹ *Поршнева Е.Б.* Реальность воображения (записки об отце). // Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. 2-е изд., доп. СПб., 2005 (в печати).

Отчитываюсь в секторе о работе над диссертацией. Выступают рецензенты. Ф.А. Хейфец, упрекая в недооценке предшественников, называет меня «Иваном, не помнящим родства». Я охотно подтверждаю ее правоту, уточняя, что не признаю «родства» по отношению к знаменитому «кирпичу» 1941 г. - коллективному изданию по истории Французской революции, на которое ссылалась Фанни Ароновна и в котором ее перу принадлежали соответствующие главы². Далее я, однако, свидетельствую о высоком уважении к первому поколению советских историков, напоминая, что моим учителем был Я.М. Захер, один из лучших среди них. Бориса Федоровича заметно позабавил весь эпизод, а подтверждение мной, что «я – родства непомнящий Иван», вызвало у него восклицание типа «вот дает».

Следующее, окончательное обсуждение диссертации. Б.Ф. уже не заведует сектором и не является его членом, но пришел поучаствовать. Выслушав мое историографическое введение, делает раздраженным тоном упрек: «У Вас получается, как у Гегеля. Абсолютная идея блуждала, блуждала, пока не попала к нему в голову». Я заверил Поршнева, что так и думаю: «А как же иначе, ведь моя задача здесь обосновать то, что достигнуто мной». Б.Ф. только руками развел. После обсуждения А.З. Манфред, новый руководитель сектора, и В.М. Далин между собой возмутились: «Зачем он пришел? Чтобы раскритиковать нашу работу?». Потом обратились с некоторым недоумением ко мне: «Но к Вам он почему-то хорошо относится».

Очевидно, Поршневу положительно оценивал диссертацию и, когда я в телефонном разговоре (почти единственном) просил его принять участие в заседании диссовета, сказал: «Благодаря Вашей работе процесс генезиса якобинской диктатуры прояснился, но меня больше интересует процесс ее крушения». Хочется предположить, тем не менее, что оценил он и приведенные пассажи.

Запомнился еще один, более ранний эпизод. 60-летие Поршнева, по случаю которого он собирает руководимый им сектор в банкетном зале популярного тогда ресторана «Прага». Собравшиеся дружно провозглашают здравицы, и особенно это удастся Э.А. Желубовской, Л.И. Зубоку, М.М. Карлинеру. Я чувствую себя крайне неловко из-за своего стороннего положения (как «заочник» я не был членом сектора). Приглашение на банкет меня озадачило: вроде как от меня чего-то ожидается, а состязаться в хвалебных речах не научен. Мою неловкость обостряет Манфред. Предоставляя мне как председательствующий слово, он по своему обыкновению добавляет несколько пафоса.

² Французская буржуазная революция. 1789-1794. М.; Л., 1941.

Оказывается, я представитель французской культуры и должен, будучи франковедом, сказать нечто с присущей этой культуре галантным остроумием. Мало того, что скованность блокировала какое-либо проявление и остроумия, и «галантности» с моей стороны, так еще «любимая мозоль»: я тогда был уверен, что не увижу Францию до конца своих дней. И я не нашел ничего лучшего, как заявить примерно следующее: «Мы тут слышали много тостов. Одни были хорошие, другие – разные. А вот вино неизменно было хорошим. Выпьем за то, чтобы у юбиляра за его столом всегда водилось хорошее вино». Поршнев захохотал и, обернувшись к Альберту Захаровичу, сказал: «Поздравляю Вас с таким учеником». «Что, что он сказал?» – заинтересовался тот, а за ним и другие, явно меня не слушавшие. «Он сказал, что истина в вине», – с ходу сформулировал юбиляр.

После защиты кандидатской диссертации встал вопрос о моей «интеграции» в Институте всеобщей истории. Поршнев некогда открыл мне дорогу в академическую науку, предложив поступить в аспирантуру руководимого им сектора³. Аспирантура была без отрыва от производства, а «производством» оставалась родная «Фундаменталка». Моим научным руководителем стал Манфред и в качестве «шефа» предложил Б.Ф. некое «разделение труда». Сам брался посодествовать в издании монографии, а на Поршнева возлагалось мое устройство в формирующийся сектор истории общественной мысли, заведующим которого он стал. Б.Ф. назначил мне аудиенцию.

Из-за сложившейся в это время в Институте конъюнктуры⁴ я был настроен предельно пессимистически. Поэтому с самого начала откровенно сказал, что меня больше интересуют не социальные теории, а социальные движения, не идеология, а коллективное сознание, вообще не «системы», как резюмировал Б.Ф., а «бессистемные» – неясные и неоформленные устремления участников массовых выступлений. Не стану гадать о мотивах, которыми руководствовался Поршнев. Казалось, было ясно, что в «секторе по теориям» мне делать нечего, однако беседа затянулась и оказалась самой продолжительной за все время нашего знакомства. Б.Ф. приводил пример М.А. Барга, который в стихийных массовых настроениях времен Английской революции смог выявить идеологические установки, а в общем заинтересованно выслушивал, вникая в мои «неясные и неоформленные устремления» и как бы пытаясь своими формулировками помочь мне самому уяснить свое

³ Об этом эпизоде см.: Французский ежегодник. 2002. М., 2002. С. 40-41.

⁴ Об антисемитских аспектах идеологической реакции конца 60-х, насколько это меня коснулось, см.: Там же. С. 41-43.

научное призвание. Когда Манфред спросил о результатах встречи, Поршнев ответил коротко и уклончиво: «мы друг другу понравились».

Ретроспективно я допускаю, что тогда выявились несходство и в чем-то прямая противоположность наших исследовательских установок. Поршнев остается для меня «системником» *per se*, законченным, классическим выражением того типа исследователей, деятельность которых была направлена на разработку и формулирование определенной познавательной системы. Он был «гегельянцем» в самом общем и лучшем смысле этого слова. Сделанный им упрек при обсуждении моей диссертации, в сущности, красноречиво характеризовал его самого. Несомненно, Поршнев размышлял о воплощении «абсолютной идеи», и создававшаяся им «система истории», на мой взгляд, один из самых значительных в советской историографии подобных примеров.

Системность мышления Поршнева проявлялась в самых различных видах. Среди коллег-историков господствовало насмешливо-пренебрежительное отношение к его занятиям биологией, увлечению «снежным человеком». Говорили (да и сейчас говорят) об особой «жажде сенсаций». А ведь, если вчитаться в сформулированный им силлогизм, все кажется просто и логично: «Социальное нельзя свести к биологическому. Социальное не из чего вывести, как из биологического»⁵. Поршневская «система истории» предполагала разработку науки о человеке, иначе говоря – антропологию, а классическая антропология была естественной наукой с биологическим основанием⁶.

Пресловутый «снежный человек» являлся для Б.Ф. недостающим звеном антропогенеза. Нахождение звена должно было придать завершение всей системы и тем самым подтвердить ее истинность. Его очень часто упрекали в пренебрежении к фактам, а дело нередко обстояло иначе: во всяком случае в теории антропогенеза он слишком, на мой взгляд, верил в их исчерпывающую убедительность, в некую объективную «анатомию факта». Не случайно он считал (по словам, слышанным от него Е.М. Михиной в последние годы), что должен был «умереть в белом халате», то есть, экспериментатором-естествоиспытателем. По воспоминаниям Е.Б. Поршневой, отец рвался проводить эксперименты

⁵ Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). М., 1974. С. 17.

⁶ Значение социальной антропологии, развивавшейся к тому времени в Англии и США добрых полвека, у нас представляли единицы (в частности Ю.И.Семенов, благожелательный оппонент Поршнева), а бурно прогрессирующую во Франции историческую антропологию А.Я. Гуревич начал внедрять в отечественной науке спустя десятилетие после формирования Поршневым своей системы (на первых порах между прочим через реферативные сборники ИНИОН, многие из которых носили гриф «для служебного пользования»).

над маленькой внучкой, так же как с увлечением изучал рефлексы у домашней собачки.

Другое дело, что Поршневу претило то коллекционирование фактов, которое сделалось *modus vivendi* советской историографии. Правда при идеологических кампаниях, подобных той, что накатила в конце 40-х годов, «фактография» подвергалась осуждению; но «девятый вал» проходил, а «сбор и накопление фактов» оставались удостоверением научной состоятельности работы. В немалой степени презумпцию объективных достоинств «собираательства» можно толковать как проявление инстинкта самосохранения ученых и даже как защитную реакцию научного сообщества на навязывание партийных идеологем. При абсолютной монополии официального учения на теорию и методологию исторического знания настойчивое стремление Поршнева внести концептуальность, привести факты в определенную и притом строгую систему вызывало как правило подозрение, а большей частью и отторжение.

Отношения с коллегами осложнялись еще и тем, что Поршнев был не просто «системником», а к тому же «универсалистом», иначе говоря, всю жизнь и во всех аспектах научной деятельности вполне в духе Гегеля стремился к построению универсальных систем. Тем самым он покусался на дисциплинарную специализацию, которая в советских условиях тоже до определенной степени выполняла страховочную функцию (нечто вроде известной в инженерно-конструкторском мире «защиты от дурака»). Поршнев же не только не признавал барьера между гуманитарным и естественным знанием, он и в рамках отраслевой специализации выступал реформатором-разрушителем. Для него история представляла «цельным процессом», и он был искренне убежден, что свое подлинное значение факты прошлого той или иной страны приобретают лишь во всемирно-историческом контексте.

В свое время наделала немало шума постановка Поршневым вопроса «мыслима ли история одной страны». И сейчас эта попытка выглядит дерзким актом из-за сохраняющихся идеологических рифов; тем опаснее они были, когда «история СССР» пребывала почти в таком же сакральном статусе, как «история КПСС», поскольку была призвана воспитывать «животворный советский патриотизм». Поршнев был озабочен сугубо научными задачами: единство всемирно-исторического процесса, считал он, делало «искусственным» разделение исторической науки на «всеобщую» и «отечественную»⁷. Но идеологически

⁷ Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1976. С.7.

выступление Б.Ф. оказалось двусмысленным. И это интересно, помимо прочего, как один из тех случаев, когда научный поиск, независимо от намерений ученого, трансформировался под влиянием потребностей идеологического режима и приобретал свою специфику под влиянием господствовавших в данный момент установок.

Потребности и установки 40-х годов предполагали однозначное решение интересовавшей Поршнева проблемы – некий аншлюс, преодоление, как указывалось, «вредного отрыва» всеобщей истории от истории СССР⁸. От специалистов по всеобщей истории требовалось раскрыть («показать») выдающуюся роль Московского государства, Российской империи, Советского Союза во всемирно-историческом процессе. Ученый приступил к осуществлению своего замысла под влиянием этих установок; и первые его шаги выглядели предельно прямолинейными, хотя по-поршневски оригинальными.

Отчетливо заметно прежде всего насыщение исторического анализа отдаленных времен специфической фразеологией середины XX в.: так, Ледовое побоище оказывалось частью «гигантской всемирной борьбы сил реакции и сил прогресса, наполняющей XIII век»⁹. Но главное, историк почти буквально стремился доказать этот идеологический тезис, представив государственные образования Гогенштауфенов и Чингизидов воплощением всемирной реакции, грозившей утверждению «прогрессивного» феодального строя. Разгромив рыцарей, новгородцы нанесли, согласно Поршневу, смертельный удар европейской реакции, и стратегический выбор русского князя, обеспечивший невмешательство Орды, не много не мало «детерминировал расхождение путей Запада и Востока». Отныне «силы прогресса... сконцентрировались в Европе, силы реакции – в Азии»¹⁰.

И в более поздних, послевоенных трудах Поршнева, стремясь раскрыть международное значение Российского государства, нередко допускал элементы фразеологической и эпистемологической модернизации. Идеологемы 1945 г. очевидны и в толковании разделов Польши, в оценке «возвращения» Украины, Белоруссии, Прибалтики как «исправления исторической несправедливости»¹¹, и особенно – в

⁸ См.: Ученые записки Академии общественных наук. Вып. 2. Вопросы всеобщей истории. М., 1948. С. 3 (редакционное предисловие к выпуску).

⁹ *Поршнева Б.Ф.* Ледовое побоище и всемирная история // Доклады и сообщения исторического факультета МГУ. Вып. 5. М., 1947. С. 29. (В примечании отмечалось, что статья была написана в 1942 г., к 700-летию события).

¹⁰ Там же. С. 44.

¹¹ *Поршнева Б.Ф.* К вопросу о месте России в системе европейских государств в XV – XVIII веках // Уч. записки АОН. Вып. 2. Вопр. всеобщей истории. 1948. С. 18.

рассуждениях о перспективах для Российской империи стать в XVIII в. «лидером прогрессивного человечества»¹².

Все же по духу Поршнев оставался чужд восторжествовавшему в конце 40-х официально-государственному патриотизму и, следуя своей исследовательской логике, приходил к разрушительному для идеологем (по сию пору сохраняющих свою влияние) историческому итогу. Россия, доказывал он, в начале XIX в. окончательно сокрушила «внешний барьер», отделявший ее от сил прогресса, но оказалась заблокированной «внутренним» – самодержавно-крепостническим строем. В результате – «страшное банкротство» правящего режима и «жестокая трагедия» для страны. «Несколько веков рваться к Европе, титаническим натиском сломить "барьер", триумфатором и освободителем вступить в круг европейских народов – и в итоге не только ничего не принести им, кроме торжества ими же отвергнутой реакции, но и самой не получить ничего»¹³.

Система межгосударственных отношений в Европе пребывала в центре исследований Поршнева 50 – 60-х годов. В ее эволюции ученый стремился раскрыть ход всемирно-исторического процесса, разработав особый комплексный подход, своего рода социологию международных отношений. В знаменитых синхронных «срезах» эпохи Тридцатилетней войны Поршневу удалось продемонстрировать взаимовлияние процессов, происходивших внутри отдельных государств, и отношений между ними в рамках всей Европы.

Подчеркну, речь не шла об использовании всеевропейского или всемирно-исторического контекста для апологии известного «центра», как делали другие и как поступил в том числе академик Р.Ю. Виппер (учитель учителя Поршнева В.П. Волгина), пришедший в результате своего сравнительно-исторического анализа Европы XVI в. к «апофеозу» Ивана Грозного и его державы¹⁴. Напротив, исторический процесс раскрывался Поршневу подобно самоценности в единстве его составляющих. Пресловутая «великодержавность» была столь же чужда

¹² Поршнев Б.Ф. К вопросу о месте России... С. 29.

¹³ Там же. С. 32.

¹⁴ Оценку этой концепции Виппера С.Ф. Платоновым цит. по: Шмидт С.О. Сергей Федорович Платонов // Портреты историков. Т. 1. М.; Иерусалим, 2000. С. 123. Поршнев находил у Виппера «зачатки» отстаиваемого им «всемирно-исторического метода», смешанного, однако, с методом «ассоциаций», т.е. открытия подобия различных явлений, а не их взаимосвязи (Поршнев Б.Ф. Мыслима ли история одной страны // Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1969. С. 309; Он же. Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII в. М., 1970. С. 20-21).

Поршневу, как «германоцентризм» Гегеля или «франкоцентризм» некоторых коллег. Мировая империя в любой ипостаси не входила, можно констатировать, в круг его ценностей и предпочтений.

В «синхронных срезах» XVII века смысл раскрывался именно в единстве исторического процесса: установка на «рассмотрение судеб многих народов и стран в их одновременной связи»¹⁵ отчетливо торжествовала над обоснованием «центральности» какого-то (какой-то) из них. Примечательна и коллизия, возникшая в секторе новой истории (на рубеже 50-х – 60-х годов) с задуманным трехтомником по истории Французской революции. Столкнулись тогда две историографические позиции. «Традиционалисты» считали, грубо говоря, что сами по себе события во Франции образуют «систему», хотя и не выступали против присовокупления к ним международных «откликов» на Революцию (по образцу выше упомянутого издания 1941 г.). В замыслах же Поршнева получалось нечто другое, а именно «всемирная история конца XVIII в.», как охарактеризовал в разговоре со мной поршневецкий проект Манфред.

Если поршневецкое системосозидание предполагало в принципе свободный полет научной фантазии, особый дар творческого воображения (который Е.Б. Поршнева справедливо выделяет среди талантов ученого), то системные блоки, напротив, отличались, как мне кажется, чрезмерной «материальностью». В результате сплошь и рядом возникали методологические «неувязки». Помню, Поршневец просто «замучил» Я.М. Захера, приехавшего в Москву для выступления в группе по истории социалистических идей с докладом об идеологии «бешеных». Захер характеризовал ее как предсоциалистическую, подчеркивая, что их взгляды обозначили лишь определенную тенденцию, которая могла привести к социализму. Поршневец такой ответ не устраивал, он предлагал докладчику поразмыслить, какое же тогда отношение имеют «бешеные» к истории социалистических идей, изучение которых и есть цель группы. Однако мой учитель держался твердо: место «бешеных» только в «предыстории» социализма.

Казалось бы, Поршневец как «гегельянцу» совершенно естественно надлежало заключить, что «предыстория» – часть истории. Тем не менее, он требовал категорической фиксации, явно имея в виду существование некоей твердой грани, абсолютного «водораздела». Почему диалектическая мысль Поршневеца остановилась перед этой гранью? Вопрос далеко не праздный, поскольку поршневецкий подход к истории социалистических идей многое, полагаю, проясняет в его «системе

¹⁵ *Поршневец Б.Ф.* Франция, Английская революция и европейская политика... С. 21.

истории». Категоричность Б.Ф. была типичной для ранней советской историографии; и можно искать причину прежде всего в том, что он был воспитан в этой традиции, одним из основателей которой можно считать академика Волгина. Вячеслав Петрович еще в 20-х годах «узаконил» особую систематизацию истории общественной мысли, смыслом которой было отмежевание социализма от всех проявлений «несоциализма», включая самый радикальный эгалитаризм. Поршнев принимал этот постулат «раздвоения» истории общественной мысли, превосходно понимая, как очевидно, всю условность проделанной его учителем операции.

Поршнев подчеркивал, что сам предмет истории социалистических идей был сконструирован чисто умозрительно, по «праву вычленения». «Разработка социалистического идеала, – допускал он, – никогда не занимала изолированного, обособленного места в общественной мысли прошлых веков... Но мы, историки, в особенности историки, живущие при социализме, по праву вычленим такую специфическую линию социального мышления»¹⁶. В системный анализ вводились идеологические задачи. В безбрежном море мечтаний, представлений, мнений, учений, теорий, явленных человечеством от седой древности, советскими историками выискивались необходимые элементы для обоснования постулата о «столбовой дороге», что привела в конечном счете к торжеству социализма в СССР. Такая перспектива или, точнее, ретроспектива диктовала специфическую методологию, при которой стремление к историзму сталкивалось с более или менее явственными телеологическими установками.

Материализацией подобного телеологического историзма был, в трактовке Поршнева, сам творческий путь ученого, который больше всех сделал для превращения истории социалистических идей в особую науку. «Работы, посвященные воплотившемуся в нашей жизни наследию социалистической мысли, представляют собой как бы окончательный итог всех исследований В.П. Волгина в области истории социалистических учений»¹⁷, – утверждал его последователь и преемник в советской историографии истории общественной мысли. Как отнестись сейчас к подобному воплощению «абсолютной идеи»?

Можно говорить о партийности советской исторической науки, о «социальном заказе», даже об элементарном «виде на жительство» в социалистическом истеблишменте. Однако все это универсальные тре-

¹⁶ Поршнев Б.Ф. В.П. Волгин // Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей с древности до конца ХУШ в. М., 1975. С. 5-6.

¹⁷ См.: Дунаевский В.А., Кучеренко Г.С. Западноевропейский утопический социализм в работах советских историков. М., 1981. С. 27.

бования к советской науке, вполне, кстати, соответствовавшие стилю известной национальной традиции «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Н.А. Некрасов). Для значительной части ученых можно считать их определенными «правилами игры»¹⁸, так или иначе они были консолидированно приняты ученым сообществом. Между тем позиция Поршнева в данном случае некоторыми существенными аспектами отличалась от отношения коллег.

В 60-х годах «постулат Волгина» исподволь, но все дружнее ставился под сомнение. Манфред и Далин на различных секторских заседаниях, в том числе в группе по истории социалистических идей, открыто полемизировали с Б.Ф. о презумпции безусловного («ценностного») превосходства мыслителей, выступавших с осуждением частной собственности и признанием превосходства обобществления. Манфред неустанно напоминал, что большинство подобных идеологов в период Французской революции оказались на жирондистских позициях. Полемика между коллегами нередко набирала эмоциональные обороты. «Что дали Ваши социалисты истории Французской революции?» – однажды в запальчивости, в общем для него нехарактерной, бросил А.З. «Альтернативу капитализму», – невозмутимо-убежденно отвечал Поршневу.

Конкретно вопрос стоял об историческом значении якобинцев, и оппоненты Поршнева воспринимали выдвижение «социалистов» как умаление этого значения. Между тем, Поршневу отнюдь не занимал антиякобинские позиции. Он весьма критически отнесся к подходу Альбера Собуля, противопоставившего секционное движение якобинской власти¹⁹, а предпринятую В.Г. Ревуненковым «деякобинизацию» попросту проигнорировал, хотя сама тема несомненно привлекала его внимание. На вступительном экзамене в аспирантуру (за 5 лет до появления книги Ревуненкова) Б.Ф. спросил, интересовался ли я Ленинскими оценками якобинизма. Я с энтузиазмом ответил, что даже «вывел систему»: до Октября 1917 г. Ленин оценивал якобинскую диктатуру преимущественно положительно, после – критически. «Ну это упрощение», – поморщился Поршневу, имея в виду вторую часть «моей системы». Тем не менее, не умаляя историческое значение якобинцев²⁰, он по концептуальным положениям своей системы упорно отстаивал высшую ценность социалистической «линии» в идеальности (социальный идеал) представлявших ее идей.

¹⁸ См.: Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001. С. 142.

¹⁹ См.: Гордон А.В. Великая французская революция, преломленная советской эпохой // Одиссей. 2001. М., 2001. С. 334.

²⁰ См. например: Поршневу Б.Ф. Мелье. М., 1964. С. 236.

Подобный ригоризм в 60-х годах уже выглядел анахронизмом. Если не на общетеоретическом уровне, то в исследовательской практике была вполне осознана спорность абсолютизации критерия обобществления, отбрасывавшего в общий «несоциалистический» массив разнообразие эгалитаристских течений, которые сыграли очевидную роль в развитии социальной мысли и разработке революционных проектов общественного переустройства во многих странах мира. Социалистическая «линия» все определенной укорачивалась: была в известной мере осознана искусственность отыскания «истоков» социализма в древности и средневековье. Подобной «генеалогии без границ» в конце советского периода был противопоставлен подход, обуславливавший возникновение социализма противоречиями капитализма и соответственно датировавший возникновение утопическо-социалистических систем Новым временем. На такой позиции стоял в конце 70-х годов ученик, ближайший сподвижник и преемник Поршнева Г.С. Кучеренко²¹. Им отчетливо был поставлен вопрос о воссоздании творчества социалистических мыслителей во всей полноте, без затушевывания «несоциалистических» черт и в «сложном переплетении» утопического коммунизма с другими течениями общественной мысли этого времени²².

Происходившая «после Поршнева» ревизия телеологических постулатов ранней советской историографии соответствовала, можно уверенно сказать, поршневской мысли. Обосновывая «право вычленения», трактуя создание особой истории социалистических идей как «научный подвиг», он вместе с тем подчеркивал, что «обособить» их – лишь первая часть работы. «История социалистических идей, – утверждал Поршнев, – изолировалась только для того, чтобы в конечном счете стало видно, насколько без нее была искажена и непонятна совокупная история общественной мысли». Следующий этап – возвращение социалистических идей в общий контекст идейной (или, как сейчас принято говорить, «интеллектуальной») истории человечества²³.

Почему же сам Поршнев не только не выступил с соответствующей «ревизией», а, напротив, упорно требовал выделения социалистической мысли и ее отмежевания от всякой иной? Возможны различные объяснения. Одно – конъюнктурно-идеологическое. Помню, как-то обсуждались итоги советско-американского (кажется так) научного «форума». Советскую делегацию, что было принято, составляли особо

²¹ См.: Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии. ХУІ – первая половина ХІХ в. М., 1981. С. 14-24.

²² Там же. С. 36.

²³ См. предисловие в кн.: Волгин В.П. Указ. соч. С. 6.

доверенные персоны с академическими званиями; мероприятие носило чисто ритуальный характер, потому обсуждение его «итогов» предполагало дежурную информацию об имевшем место «событии».

Вдруг поднимается Поршнев, и «требует к ответу» организаторов. Он утверждает, что из сообщения о «форуме» не узнал самого главного, была ли на нем выражена принципиальная точка зрения советских историков, была ли заявлена «наша марксистская позиция». Демарш вызвал некоторое замешательство в «президиуме» и едва скрытую иронию «публики». Помню также, как одному из своих критиков Поршнев предлагал откровенно признать свое несогласие с Энгельсом; весьма нередко он объявлял своих оппонентов «ревизионистами». Кучеренко подобные «эскапады» объяснял мне так: подчеркивая и демонстрируя свою ортодоксальность, Б.Ф. искал прикрытия для своих далеко не ортодоксальных работ (имелась в виду, по-моему, теория антропогенеза).

Не ставя под сомнение это объяснение, мне хотелось бы проследить возможность более сложного подтекста поршневого ригоризма в отношении социалистических идей. Рискую высказать несколько предположений. Во-первых, отстаивая социализм «идеальный», Б.Ф. обосновывал по существу право историка критически относиться к социализму «реальному». Да, он не пробовал выступать с публичной критикой существовавших порядков и, в частности, потому что чрезвычайно дорожил возможностью время от времени покидать страну «реального» социализма. Его заграникомандировки преследовали не только научные цели: как и для коллег, капиталистический мир таил для Поршнева многообразие познавательных возможностей, в том числе чисто материального и потребительского свойства. Так, по рассказам дочери, Б.Ф. очень ценил налаженность «тамошнего» быта, блага цивилизованного обустройства повседневной жизни и уважительный характер отношений между людьми.

Во-вторых и главное: мне представляется, что социалистическая «линия», перманентно и подспудно воспроизводившая в истории человечества идеи свободы-разума-справедливости («идеальный социализм»²⁴), была для Поршнева одной из двух составляющих «системы истории», первой из которых, несомненно, являлась грубая реальность социальных антагонизмов. Эту «линию» ученый проследил до самых предельных глубин человеческого существования, буквально *ab ovo*.

²⁴ С окончательным торжеством социализма человечество, согласно поршневающей интерпретации Маркса, обрело «мир свободы, разума, справедливости» (*Поршнев Б.Ф.* Периодизация всемирно-исторического прогресса у Гегеля и Маркса // *Философские науки.* 1969. № 2. С. 61).

Хорошо известна та исключительная роль, которую Поршнев отводил классовой борьбе как движущей силе истории, вступая в острый и небезопасный конфликт с «подавляющим» большинством коллег историков-медиевистов. Значение тех событий в творческой и человеческой судьбе ученого трудно переоценить. Именно с них началась известная изоляция (и определенная самоизоляция) Поршнева в академической среде, которая не могла не способствовать развитию его теоретического «монологизма». На характерную для советских научных дискуссий с известного времени²⁵ «мучительную» беспощадность («и столько мучительной злости таит в себе каждый намек, как будто вколачивал гвозди Некрасова здесь молоток», по О.Э. Мандельштаму) накладывалось ставшее привычным «ритуальное» лицемерие. Все это не могло не повлиять на психику ученого, его поведенческий стиль. Ставшее привычным патетическое отстаивание «нашей марксистской позиции» – явное наследие идеологических схваток конца 40-х – начала 50-х годов; казавшееся анахронизмом в более «вегетарианский» период «оттепели», оно оставалось для Поршнева выстраданным в самом буквальном смысле слова²⁶.

Многостороннюю и убеждающую картину этого конфликта недавно представили тюменские историки Сергей Витальевич и Тамара Николаевна Кондратьевы²⁷. В ряду предложенных ими объяснений от «материальных и карьерных» причин до опасений коллег за последствия внедрения поршневого «монизма» я задержусь на тех образующих конфликта, что соотносятся с метаморфозами усвоения марксизма в советской науке. В дискуссии по теории феодализма столкнулись две формы этого усвоения – эконоцентризм и классовый детерминизм. Эконоцентризм выкристаллизовался еще в дореволюционной

²⁵ Смену тона дискуссий между советскими историками с разъяснительного на разоблачительный можно датировать началом 30-х годов (см.: *Гордон А.В.* Власть и революция: Советская историография Великой французской революции. 1918-1941. Гл. 2. – В печати).

²⁶ К тому, что написала Екатерина Борисовна, добавлю один эпизод. В.П. Данилов рассказывал мне, что когда на рубеже 60 – 70-х годов (при разгроме методологического сектора М.Я. Гефтера) «обсуждали» Л.В. Данилову, Поршнев заявил: «Раньше таких расстреливали, а теперь мы будем воспитывать». Невольно возникает ассоциация: один из самых принципиальных и профессионально подготовленных (наряду с С.Д. Сказкиным) оппонентов Поршнева во время «дискуссий» 40-х – 50-х годов В.В. Бирюкович напоминал Б.Ф. о судьбе «врагов народа», а С.Л. Утченко, попеняв за эту угрозу, заявил, что Поршнева пригласили на партсобрание Института не на «экзекуцию», а для «воспитания» (см.: *Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н.* Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 50-х гг. XX века). Тюмень, 2003. С. 222).

²⁷ *Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н.* Указ. соч. С. 117 – 240.

науке, где представал «экономическим материализмом», в 20-е годы он был потеснен классовым детерминизмом, но возродился с необходимыми формационными «добавками» в 30-40-х годах. Возможно, Кондратьевы правы, и удивительное в советской медиэвистике направление обеспечивало в целом большой «сюжетный» (тематический) и особенно «дискурсный» (по их словам) плюрализм; но для исследователя социальных движений экономоцентризм, принимавший форму технико-экономического детерминизма, объяснения всего исторического процесса сдвигами в производстве, представлял несомненную «удавку».

Под предлогом установления «объективных закономерностей», а «объективной», в конечном счете, представлялась лишь эволюция экономики, динамика роста «производительных сил», вопрос об историческом субъекте, о людях как «творцах истории» (Маркс) отходил на задний план или вообще снимался. Видимо, от этого как «от противного» и отталкивался Поршневу, используя другую из допустимых официальным учением возможностей и полемически доказывая, что сама экономика, конкретно феодального общества, является «насквозь классовой»²⁸.

К тому же среди участников дискуссии Поршневу, что многое объясняет в его поведении, «как никто другой был увлечен поиском смысла и логики истории»²⁹. Вполне в русле восторжествовавшей в советской науке версии марксизма (как раз в начале 50-х годов советские теоретики во главе с И.В. Сталиным открывали «основной экономический закон» социализма) ученый искал «основной закон» феодализма и пытался выстроить политэкономическую систему этой формации. Я не отрицаю, что попытки такого рода выглядели подчас чрезмерной схематизацией, а отставание универсальной роли классовой борьбы напоминало «социологизирование» ранней советской историографии.

Как в «системе истории» Поршнева возникала тень подобной вульгаризации Маркса, казалось бы, глубоко чуждой ученому по творческому духу? Поршневу был ведь не из тех, кто пасует перед сложностью эпистемологических систем; неоднократно и вполне искренне он заявлял, что ищет теоретической сложности³⁰. Но

²⁸ Цит. по: Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Указ. соч. С. 228-229.

²⁹ Там же. С. 238.

³⁰ Вот характерное заявление: «Меньше всего я приму упрек, что излагаемая теория сложна... Я приму только обратную критику: если мне покажут, что и моя попытка еще не намечает достаточно сложной исследовательской программы» (Поршневу Б.Ф. О начале человеческой истории... С. 18).

парадоксально, чем больше углублялся ученый в своих философско-исторических размышлениях, тем в большей зависимости оказывался от мировоззренческих установок своего времени. Трактую человеческую историю как развитие антагонизмов, Поршнев определенно выстраивал свою «систему истории» как «теорию одного фактора».

Я бы задумался здесь, в первую очередь, о последствиях методологического редукционизма, глубоко укоренившегося в европейской общественной мысли со времен «научной революции» XVII в. и доведенного до одного из своих логических пределов в так называемом классовом подходе. Упиравшаяся своей «приземленностью» в «классовую арифметику» эта парадигма одновременно «сублимировала» последнюю до всемирно-исторических высот. Демонстрируя существование глубокого и всепроникающего антагонизма в человеческих отношениях, она абсолютизировала ту «дурную» сторону истории, о значении которой хорошо знал, но не хотел размышлять Гегель.

Эту «антагонистическую линию» всемирной истории в ее глубинных истоках и основных проявлениях взялся проследить в своем творчестве советский ученый. Естественно, такой подход должен был вылиться в «критику человеческой истории», о чем Поршнев задумался, по собственным словам, еще в самом начале творческого пути³¹. А решающее значение имел переход к антропогенезу, изучение которого он назвал своей «основной специальностью»³². В поршневецкой трактовке классовый антагонизм письменной истории человечества в духе знаменитой фразы «Коммунистического манифеста» («история всех до сих пор существовавших обществ есть история борьбы классов») обнаруживает свою явственную аналогию в антагонизме между обезьянолюдьми и протосовременным человеком – антагонизме, который, по Поршневу, нашел выражение в развитии речи, мышления, наконец, формировании идентичности нашего ископаемого предка³³.

Советский ученый занял особую позицию в характерном для европейской мысли со времен Просвещения столкновении мнений о начале человеческой истории. В противоположность построениям Руссо и иных философов-идеологов Французской революции, «естественное» состояние предстало для него в мрачном свете. Сформулировав

³¹ Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории... С. 13.

³² Там же. С. 25.

³³ Обстоятельно и убедительно логика поршневецкого подхода к предистории человеческого рода прослежена в работе: Вите О.Т. Творческое наследие Б.Ф.Поршнева и его современное значение // <http://www.russ.ru>. Сокращ. вариант см.: Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. 1998. № 3 (9).

стоящую перед исследователем «доистории» дилемму, «либо искать радующие... симптомы явившегося в мир человеческого разума», либо «искать свидетельства того... от чего мы отделялись»³⁴, Поршневу провозгласил единственно научным путем познания вторую позицию, сосредоточившись на изживании человечеством своего биологического прошлого.

Архетипом общественных отношений становилось взаимоистребительное сосуществование людей и «нелюди» (троглодитов), прототипом производительной деятельности – переход от трупоядения к умерщвлению ради пищи; и над этим выстраивалась «надстройка» антропогенеза в виде торможения рефлексов, подавления животных проявлений психики, табуирования атавистических наклонностей, взаимообособления этносов и вечного противопоставления «мы и они».

В такой методологической перспективе классовый, этнический, межгосударственный антагонизм оказывался антропологическим фактом, а «идеальный социализм» становился в конечном историческом итоге необходимым и спасительным «усмирением» воплощенной в истории классовых обществ темной стороны человеческой природы. Разумеется, это только возможная и предельно рискованная «реконструкция»: ход мышления Поршнева мне, понятно, неведом, во всяком случае, он гораздо сложнее. Но строгое и последовательное выделение ученым двух линий, жесткое противопоставление реалий классовой борьбы «вычленяемой» истории социалистических идей, абсолютизация антагонистичности человеческой истории, с одной стороны, и «идеальности» социализма – с другой, невольно наводят на размышления в этом направлении.

Б.Ф. был из тех ученых, которым в высшей степени и во всем было присуще глубокомыслие, объектом его осмысления несомненно должна была стать окружающая действительность. Как мне кажется, онтологические истоки мировоззрения Поршнева, его «системы истории» следует искать в войнах и революциях XX в., в кровопролитных перипетиях становления советского общества с перманентным «обострением классовой борьбы», наконец – в его собственной биографии выхода из «социально чуждого» сословия, потребовавшей особых усилий для интеграции в новое общество. По словам Екатерины Борисовны, отец обладал многими качествами «подлинного борца». О «задиристости» молодого Поршнева, его постоянной «готовности к бою»³⁵

³⁴ Поршневу Б.Ф. О начале человеческой истории... С. 17.

³⁵ См.: ФЕ. 1972. М., 1974. С. 339-340.

вспоминал близко знавший его с 20-х годов Альберт Захарович Манфред. На своем жизненном пути ученому немало пришлось преодолеть и передумать; и к природным данным прибавилась, очевидно, мировоззренческая подготовка к борьбе.

Я бы не стал при этом преувеличивать степень оппозиционности Поршнева советскому истеблишменту. В конце 60-х годов издательство «Советская энциклопедия» разослало словник третьего издания БСЭ. Увидев, что в нем нет моего учителя, я написал обращение с просьбой включить в состав словника Я.М. Захера. Принес на одно из заседаний и попросил подписать Манфреда, что тот немедленно и исполнил. Затем подошел к Поршневу, который в ответ на мою просьбу полушутливо спросил: «Это не из тех писем, за которые сейчас с работы выгоняют?». Но, увидев подпись Манфреда, расписался, не читая. Подобно своему коллеге, он отчетливо чуждался диссидентского движения.

Не только Поршнев неизменно сохранял лояльность официальному режиму, но и последний относился к ученому «лояльно». Как показали итоги дискуссии 40-50-х годов, Б.Ф. не значился в «проскрипционных списках» этого времени. А в 60-х в «высших сферах» был, по-моему, в целом на хорошем счету. Да, он оставался беспартийным (как и Манфред после ареста в 30-е годы); но его научные достижения, равно как признание за рубежом (прежде всего во Франции) и соответственно (как и у Манфреда) индивидуальные возможности в поддержании международных научных контактов, которые сделались необходимостью в условиях «разрядки», по достоинству оценивались в партийных инстанциях. Несомненное свидетельство тому – предоставлявшиеся Поршневу загранкомандировки, порой многомесячные (до полугода и даже с женой). Подобное было большой редкостью, за это надо было бороться, все это надлежало «пробивать». Трудно перечислить различные инстанции, что принимали участие в решении вопроса; нередко дело доходило до секретариата ЦК. Между тем, даже после нового «обострения идеологической борьбы» в 1968 г. Поршнев и Манфред оставались «выездными»; естественно по возможности они использовали преимущества поддержки «сверху».

В памяти сохранился один эпизод. Одесский историк, известный тогда специалист по истории общественной мысли эпохи Просвещения и мой старший друг В.С. Алексеев-Попов попросил получить для него билет в Париж. Речь шла об участии в коллоквиуме по Просвещению. Инспектор министерства образования после некоторых колебаний выдала мне соответствующий ордер, и я этот билет получил. Но она предупредила, что на поездку претендует некий «московский профессор», который уверен в своем успехе. От Вадима Сергеевича я знал, что

его поездку «пробивал» первый секретарь одесского обкома, который и договорился о ней в министерстве. И если, в конечном счете, на коллоквиум отправился «московский профессор», а им оказался Поршневу, то нетрудно сообразить, какие еще более «высшие силы» склонили чашу весов в его пользу.

К глубококому сожалению, с подобным «пробиванием» своего места под «советским солнцем» были связаны межличностные столкновения, заканчивавшиеся порой трагическим исходом (есть и такие на моей памяти). «Гармония» социалистического бытия предполагала особо изоциренную конкурентную борьбу внутри научного сообщества на всех его уровнях; и круг взаимоотношений, возникавших в связи с заграничными поездками, был лишь колоритным, но далеко не единственным выражением межличностной конкуренции.

К объектам соперничества следует отнести публикации, ставки, аспирантские места, право на защиту диссертаций, особенно докторских. Во всех подобных случаях борьба ученого разворачивалась не с властью; то были взаимоотношения внутри научного сообщества, поставленного лицом к лицу с всевозможным «дефицитом» (в виде квот, листаж, штатного расписания и т.п.), который, чем дальше, тем больше превращался в эффективное орудие власти. Пресловутая партийность, «проработки» и «самоцензура», «пятая графа» и пр. зачастую оказывались политико-идеологической «надстройкой» над бытовыми, в сущности, проблемами. Жертвами и одновременно носителями подобных «человеческих отношений» в советском научном сообществе становились в общем ряду крупные, выдающиеся ученые.

На базе «отношений дефицита» разыгрывались разнообразные организационные «разборки». Авторитет научного руководителя в служебной иерархии измерялся его «пробивными» возможностями, которые очень многое значили для успеха соответствующего подразделения и благополучия его сотрудников. Кучеренко рассказывал, как из-за антипатии к «шефу» начальствующих лиц³⁶ крайне затруднялось решение оргвопросов сектора истории общественной мысли (именно Геннадий Семенович ими по преимуществу занимался) в академических инстанциях: «Назовешь имя – сразу глухая стена».

Положение могло радикально измениться в случае избрания Поршнева в Академию. С.В. Оболенская совершенно права: итоги выборов 1972 г. оказались последним для него ударом. Конечно, Поршневу знал о неблагоприятном «соотношении сил». Но «как он

³⁶ О нерасположении к Поршневу директора Института истории см.: *Гинциберг Л.И.* Владимир Иванович Хвостов // *Портреты историков: Время и судьбы.* Т. 2. С. 388.

хотел стать академиком!»³⁷. И не в одном честолюбии дело, хотя и его у Б.Ф. было предостаточно. Главное видится в том, что академическое звание открывало дорогу для публикации его не увидевших свет многочисленных работ, включая ту последнюю, книгу всей жизни, набор которой был рассыпан незадолго до кончины.

Академические выборы, кроме того, поразили Б.Ф., по рассказу Екатерины Борисовны, скажем так «противоестественностью» отбора. Точнее, как разъяснял мне Кучеренко, они были совершенно «Естественны» для академической верхушки, которая в тот момент особенно дорожила деловыми контактами с партаппаратом, с курировавшими науку отделами ЦК. Но Поршневу как ученому продемонстрированное предпочтение перед научными достижениями каких-то иных, управленческо-приспособительных критериев было оскорбительным вдвойне (не только за себя).

Моя наставница, научный редактор двух монографий, хорошо знавшая наших виднейших историков 60-х годов (по работе в «Вопросах истории» и методологическом секторе Института истории) Евгения Эммануиловна Печуро неизменно ставила Поршнева на первое место по масштабам таланта. Нередко она присоединяла к нему С.Д. Сказкина, добавляя, что тот «зарыл свой талант в землю». Между тем Сергей Данилович добился, кажется, полного успеха в жизни – академик, депутат Верховного Совета, Герой соцтруда и автор многочисленных публикаций. А Б.Ф. мог противопоставить лишь уверенность в том, что «выполнил главное дело своей жизни»³⁸.

Пожалуй, так и есть. Оставаясь «заложником времени», он сделал, что мог на избранном пути. Да, его система может отталкивать аннахронизмом «дискурса», а его подход – нетерпимостью к Альтернативным точкам зрения³⁹. Поршнев не просто позиционировал себя приверженцем официального учения; у него было достаточно оснований воспринимать себя ортодоксальным последователем Маркса в

³⁷ *Оболенская С.В.* Первая попытка истории «Французского ежегодника» // ФЕ. 2002. М., 2002. С. 68.

³⁸ Пересказ И.З. Тираспольской, записанный О.Т. Вите. См.: *Вите О.Т.* «Я счастливый человек»: Книга «О начале человеческой истории» и ее место в творческой биографии Поршнева // Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. 2-е доп. изд. (в печати).

³⁹ Даже симпатизировавшие ему издатели последнего поршневого труда должны были отметить: «включаясь в острые современные дискуссии... автор защищает с присущим ему научным темпераментом и решительностью лишь одну из имеющихся... точек зрения» (*Момджян Х.Н., Токарев С.А., Анцыферова Л.И.* Предисловие // Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. С. 10-11).

ленинской версии⁴⁰ марксистской теории. Но все эти «вопиющие» для умонастроения постсоветской научной общественности проявления «ограниченности» не могут заслонить очевидное: у поршневецкой системы оказался запас прочности. Потому следует поразмыслить об ее «апориях».

Не скрою, лично меня (как «поэта и гражданина») отталкивает абсолютизация антагонистического начала в человеческих отношениях на всех уровнях и этапах. Но разве современная западная концепция «столкновения цивилизаций» и идеологическая война, объявленная отечественными «почвенниками» различных методологических школ и политических ориентаций процессу глобализации, не представляют новейшую вариацию на поршневецкую тему «мирового антагонизма»⁴¹? А многие ли историки готовы отказаться от представления об исходной обусловленности исторических явлений и перейти в их анализе на позиции вероятности? И, наконец, так ли устарело убеждение, что цель науки – поиск закономерностей и что раскрытие исторических закономерностей позволяет прогнозировать будущее?

Напротив, как ученому мне глубоко импонирует, например, разграничение между «знатоком старины», поглощенным всецело конкретным объектом своего анализа, и профессиональным историком, который именно по долгу своей профессии должен представлять место любого объекта анализа в общеисторическом процессе⁴². Очень мне по душе и поршневецкий протест против «экспансии математики». Выраженный в ситуации «разгула клиометрии», получившей поддержку самого высокого академического начальства⁴³, он остается актуальным

⁴⁰ Это справедливо уточнила С.В. Оболенская (см.: *Оболенская С.В.* Указ. соч. С. 65). Поражает, что Поршневец, готовя свой труд об антропогенезе, прошел мимо Маркса-антрополога, никак не отреагировав на публикацию «Экономических рукописей 1857 г.» в вышедшем в 1968 г. 46 томе сочинений (между тем эта публикация стала стартовой площадкой для «нового прочтения» основоположника в СССР). Э. Леруа Ладюри, оценив «Народные восстания перед Фрондой» как «замечательную книгу», вместе с тем отнес предложенную Поршневецом «объяснительную схему» к «ленинско-сталинской» традиции и подчеркнул, что анализ Марксом Старого порядка был «более тонким» (*Le Roy Ladurie E. Parmi les historiens.* P., 1983. P. 302).

⁴¹ *Поршневец Б.Ф.* Периодизация всемирно-исторического прогресса. // *Философские науки.* 1969. № 2. С. 64.

⁴² См.: *Поршневец Б.Ф.* О начале человеческой истории... С. 55.

⁴³ Возглавлявший в 60-70-х годах Академию известный математик М.В. Келдыш, очень удрученный наличием в ней «нестественных» наук и потерпевший неудачу в попытке передать их Академии общественных наук при ЦК КПСС, вынужден был смириться с их существованием в стенах АН, но потребовал решительной «математизации», которая доходила до курьезов. Так, на одной из годичных сессий АН было отмечено как выдающееся достижение то, что в Институте археологии научились считать кости на ЭВМ.

до сих пор, когда самые тонкие обобщения становятся заложниками техники подсчета. В этом протесте звучали еще две актуальные в методологическом отношении темы: во-первых, Поршнев увидел, что под видом «математизации» происходит навязывание исторической науке нового издания «непререкаемых формул», и, во-вторых, он противопоставил «сериальным» закономерностям уникальность исторического процесса в его целостности и, надо думать, отдельных проявлениях⁴⁴.

Актуальны как никогда две ведущих оси поршневыской «системы истории»: идея единства всемирной истории при всех драматических его воплощениях и идея движения человечества от несвободы к свободе при всех катаклизмах и попятных движениях. И именно принцип единства всемирно-исторического процесса, в первую очередь, требует новой, «постпоршневыской» постановки вопроса, учитывающей множественность субъектов истории и качественную разнородность исторического пространства, которая отчетливо проявляется в субъектности каждого «отряда человечества».

Другой компонент «постпоршневыской» философии истории – активная роль человеческого сознания. Всемирно-исторический процесс опирается на фактор столь же основательный, как противоречие интересов различных субъектов, а именно – их заинтересованность в поддержании связей между собой, в сохранении общности. Столкновение различных объективных тенденций придает решающее значение сознанию, его зрелости на всех уровнях от индивидуального до национального и его интернационализации, формированию универсалистских установок. «Люди сами творят свою историю», в том числе – ее всечеловеческое единство.

⁴⁴ Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории... С. 484-485.